Анатолий Санжаровский

SHOUT
SHARE
IT

- Анатолий Санжаровский

Анатолий Санжаровский
Галопом по этажам жизни (автобиография)

Проснётся день красы моей,
Зарёй украшен свет.
Я вижу горы – небеса.
А Родины здесь нет.
Заноет сердце, загрустит.
Не быть, не жить мне в том…
Не быть, не жить мне в том краю,
В котором зарождён.
А быть и жить мне в том краю,
В котором осуждён…
Отцовский двор спокинул я,
Травой он зарощён.
Травой густою, муравой,
Да горьким-горьким полыном
Родной двор зарощён.

Народная казачья песня

За что судили тех, у кого не было улик?
За их отсутствие.

Мих. Генин

В пятницу семнадцатого марта одна тысяча девятьсот девяносто пятого года померла моя мама. Пелагея Михайловна Санжаровская.

В девичестве Долженкова.

На похоронах меня поразили своей поэтичностью причитания её родной сестры Нюры.

Тётя обещала списать на бумажку свои слова. Да не списала.

И тогда я сам поехал к тёте Нюре Кравцовой за Воронеж, в степной, в сомлелый на солнцепёке городишко Калач.

А рядом, в минутах каких езды на автобусе, Новая Криуша. Отцово родовое гнездо. Столица нашей семьи.

Полсела – Санжаровские!

Чудно как-то...

Я похож на них, они похожи на меня. Доброта тоскует в лицах...

Я писал роман «Поленька». Всё рвался хоть разок съездить в Новую Криушу. Да мама отговаривала.

И только в Криуше я понял, почему она это делала.

Мой дед по отцу Андрей Дмитриевич, упрямистый казачара, в десятом колене выскочивший из вольных казачьих кровей, не вписался в «Красную дурь», как навеличивали криушане свой колхоз «Красная заря».

– Не пойду и всё. Ну хочь режьте!

Его не стали резать. Объявили кулаком.

На «суде» тройки только спросили:

– Богу веруешь?

– Да.

– Хорошо. Три года тебе. Иди.

И весь минутный «суд».

Отсидел дед три года в уральском концлагере.

Вернулся.

Сызнова в Криуше клинки подбивают:

– Не пойдёшь в колхоз снова? Иля не одумался?

– Утвердился! Невжель я мешком прибитый?

Теперь репрессировали всех наших.

И уже целые семьи и деда, и отца ночью вытолкали с родной воронежской сторонки за Полярный круг. На лесоработы.

А деду настукивал седьмой десяток.

А у отца с матерью было двое маленьких сынов. Митя и Гриша.

За чем все они полмесяца тащились в Заполярье? «За туманом? За запахом тайги»?

Всё родовое наше гнездо в Новой Криуше разорили «неутомимые борцы за всенародное счастье на века».

Кого на север, кого на Дальний Восток, кого в Сибирь выжали. Все-е-ех «осчастливили».

Кулачьё же!

А у деда, у отца не было тёплых одеял. Укрывались самодельными дерюжками. Никаких работников не держали.

В заполярном селе Ковда, что прижилось к бережку

Кандалакшского залива, я и родился в семье ссыльных переселенцев в субботу десятого сентября одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года.

Выскочил я на свет и стандартным криком о том оповестил мир.

Оповестить-то оповестил, да вовсе и не подозревал по легкомыслию, что я уже четыре года как репрессированный. Родители «удостоились» этой чести ещё в Криуше в 1934 году. Выходит, за компанию и меня покарали тогда же? Досрочно! Став на очередную вахту в честь очередной годовщины Октября? Наказали за че-ты-ре года до рождения!

Оказывается, и я, ещё не появившийся с повинной на свет белый, был уже виноват в том, что мой дед, бунтарь, трудолюбик и правдолюб, тёзка знаменитого Сахарова, не разбежался вступать в колхоз и не позволил записываться и моим родителям.

В промозглой заполярной Ковде родители – они были чернорабочими – ишачили на лесопильном заводе.

Отмотали наши северный срок, ан подают на блюдечке с каёмочкой южный.

И семья выкатилась в Западную Грузию. Это сейчас уже заграница.

Под гнилыми, малярийными дождями родители корчевали на косогорах леса. Разводили в совхозе «Насакиральский» чайные плантации.

Сначала мы жили на первом районе совхоза. Потом всех рабочих этого района пораскидали по остальным четырём районам совхоза. Нашу семью перевезли на арбе на пятый район. А в бывших наших гнилых бараках на первом районе разместили… тюрьму. Мы и не подозревали, что «шиковали» в тюремных апартаментах.

Жили мы горько. Только в восемнадцать лет я впервые увидел сливочное масло и то лишь тогда, когда очутился на больничной койке.

Отец на фронте, мама одна с тремя сыновьями. С темна до темна, без выходных ломила на чаю. По ночам рыла оградительные окопы: мы жили в прифронтовой полосе. И получала за каторжную работу горькие гроши.

Мы жили в основном домашним хозяйством. Господин Огород. Козы. Куры. Поросёнок. Всё это было на нас, на детях, на мужичках.

Весна. Надо натаскать на глинистые бесплодные огороды побольше навозу. А огороды за полтора-два километра. Вприбежку тащишь неподъёмный чувал с навозом, а по тебе течёт чёрная жижа; бегаешь по дороге из стороны в сторону: мешок с

навозом тебя ведёт. А остановиться передохнуть боишься – мешок потом не подымешь. Притащишь, спустишься на корточки, тихонько вальнёшься назад, не отрывая от спины мешка, и лежишь отпыхиваешься на нём, выкупанный п?том и навозной жижей.

А сеять кукурузу, сажать под лопату картошку – казалось всё это самым лёгким и весёлым. А окучивать, пропалывать – курорт! Багамы вперемешку с Канарами!

Осень-припасиха изматывала нас до смерти.

Кукурузу, картошку, кабаки – всё перетаскай на своём горбу.

А дрова на зиму? Лес ещё дальше огородов...

Мы, пацанва, сами лепили козам сарай. И каждую осень обязательно перекрывали кугой, обмазывали хворостяные стены глиной, утепляли папоротником. Не мёрзни наши козушки в холод! И ставили вдоль стен на коротких столбиках широкие лавки козам для отдыха.

– Коза, – говорила нам мама, – для нас же, дураков, старается как! Пока за день насбирает по горам молока полную банку – ноги с устали отваливаются. Надо ей по-людски за ночь выспаться или не надо?

Но вот огороды пусты, сарай в тепле, дрова натасканы. Гордой горушкой высятся между сараем и соседским шаблицким плетнём.

Чем заниматься после школы? Уроками?... Не-ет... Такой царской роскоши мы, маленькие горькие труженички-рабы, не знали.

Наскоро поешь и бегом после школы к маме на чайную плантацию. Собирали чай, формовали чайные кусты секаторами, копали чайные междурядья, тохали (мотыжили) их, чистили тунг... Всё какой-никакой доварок к маминому копеечному заработку. Надо ж и книжки купить, надо ж и грешный зад прикрыть чем.

С чаю приползали усталые уже в потёмках. Пока уберёмся с живностью (я часто помогал маме доить коз), пока то плюс сё – мало ль беготни по дому? – уже полночь. Вот и прикатило время садиться за уроки.

Комната у нас была всегда одна. Сначала в бараках с плетёнными хворостом стенами, обмазанными глиной и побелёнными, потом в новом, в один этаж каменном доме. Всегда одна. Все тут же уже спят под сильной голой электрической лампочкой, а ты готовишься к завтрашней школе. Не заметишь, как и сам уронишь голову на единственный – он и обеденный, он и школьный, – стол и мигом отрубился.

Мама проснётся и увидит, мягко шатнёт за плечо.

– Иди, сынок, раздевайся да ложись...

А наичаще бывало так, что подремал на раскрытом учебнике, то и весь твой сон.

Мама качнёт за плечо, ты вскочишь и быстрей раздеваться на бегу к койке. А она горько улыбается:

– Не, сынок, тебе надо совсем в другую сторону, – и показывает на дверь: за окном уже разлило свет дня. – Надо сбираться в школу.

Школа для нас была всегда большим праздником. И вовсе не потому, что там нам что-то клали в голову. Вовсе по другой причине. В школе мы могли хоть полдня отдышаться от домашней каторги. И даже вздремнёшь когда на уроке – всё отдохновение!

В школу я пошёл в девять лет без десяти дней.

Безграмотной маме нравилось слушать, как я читал азбуку.

Сама она училась в школе с месяц. По чернотропу бегала. А как похолодало, как пали снега в воронежском хуторке Собацком – учёба и стань. Не в чем было ходить в школу.

На троих у неё с братьями Петром и Егором были одни сапоги. Сапоги понадобились братьям.

Как-то мама готовила на плите вечерю.

– Почитай трошки мне, – сказала она.

– Бом – ба, – прочитал я по слогам.

– Неправильно! – стукнула мама ложкой по кастрюле на плите. – Бон – ба!!! Ны! Ны посерёдке! А не твоя мы!

– Но в книжке – «бомба»!

– Та шо они там понимають? Негодная твоя книжка! Выкинь ото!

– А уроки по чём делать?

– Тогда не выкидывай.

И больше она не спорила с учебниками.

Сижу я на уроке, а голос учителя забивают жалобные блеяния коз.

Я был самый младший в семье, и братики Гриша и Митя жалели меня, доверяли самое лёгкое: пасти козлят и коз. И я пас лет с пяти и до окончания начальных классов. После я делал всё, что и они, но пока я был ответственен за козье пропитание. Пока я прохлаждался в школе, козки мои голодно покрикивали под крючком в сарае. Всё звали меня.

Мы жили на пятом районе совхоза «Насакиральский». А школа была в центре. Туда четыре километра я шёл, а назад я уже бежал, нигде не задерживался. Я добросовестный был пастушок.

До самой ночи бродишь со стадом по кручам-оврагам, покуда

не раздуются мои рогатики как бочки. Идут назад, еле ноги переставляют. Ох-ох, ох-ох... Тяжело-о...

А у самой дороги был чайный участок тёти Насти Сербиной, маминой подружки. Тётя Настя горестно смотрит из-под зелёного пука чаинок в кулаке и говорит как-то раз:

– Что ж у тебя козы еле бредут с голодухи? Смотри, бока позападали!

– Вы не на те бока смотрите! – кричу я чуть не плача. – Вы что?... Не знаете, что у коз один бок всегда немножечко ленивый, пустой!? С ямочкой! Зато друго-ой!..

И круто заворачиваю стадушко. Гоню назад мимо тёти Насти.

– Смотрите! Смотрите! Те бока были неправильные! А эти... Вот! Совсем полные-располные бочищи!

– Теперь вижу. Полные. Хорошо напас. Молодэць!

И я затих в гордости...

После этого случая стал я стесняться тёти Насти.

Бывало, во всяк вечер, как гонишь мимо её участка стадо из лесу, угинаешь голову.

А она бросит рвать чай и ну нахваливать:

– Молодэць пастушонок! Гарно напас коз... Боки полные...

А ты со стыда ещё круче утягиваешь голову в плечи.

«То с одной стороны полные. А на другом боку наверху у всех ямки. Господи! Неужели им лень так наесться, чтоб не было ямок?»

Однажды разгромный дождь напал на меня с моим рогатым табунком.

Бежим домой.

А тётя Настя пережидает беду под придорожной ёлкой.

Увидала меня, зовёт:

– Иди-но скорей сюда! Я закрою тебя от дождя. Ты ж весь мокрей воды! У тебя ж только, може, под мышкой и сухо!

Она встречно распахнула полы большого старого пиджака. И я с разбегу влетел в её тепло, как в жаркую комнату.

Я плотно прижался к ней спиной.

Два тёплых бугорка мягко обняли меня за плечи.

Она застегнула свой пиджак у меня на животе, погладила меня по мокрой руке.

– Маленький пастушонок... Совсем мокренький... Совсем холодненький...

И заплакала.

Начальную школу я кончил с отличием. Меня даже сняли на школьную доску. Почёт тебе, дорогой!

Из учителей нашей насакиральской русской совхозной

восьмилетки мне запомнилась Анна Сергеевна Папава. Пава... Она преподавала нам грузинский язык. Молодая, красивая какой-то торжественной красотой, она ходила всегда в окружении крепких духов. Почему Анна Сергеевна так любила сильные духи? Может, всё дело в нас? Может, мы, ученики, слишком смело пахли весёлыми и милыми жильцами наших сараев? И может, магазинными духами она отгоняла от себя наше сарайное амбре?

Ясно вижу и слышу обаятельнейшего умницу математика Петра Иосифовича Боляка. Правая рука у него была сухая. Война высушила...

К жали, вижу и слышу и мелкого, круглого, вечно паровозно сопящего директора школы Власа Барнабовича Талаквадзе. А век бы его не видать! Детей он не жаловал. И кто только воткнул его в директора?

Он вёл географию.

Сколько себя помню, у меня дома всегда была на стене карта. Любил я географию. Всё сочинял географические чайнворды, кроссворды. Уроки готовил честно.

А выйдешь к доске отвечать... Всё знаешь, летишь без запинушки. Кажется, его раздражало, когда ученик отвечал прилично. Начинал наш Влас хмуриться, хмыкать. Я почему-то боялся смотреть на него. Нечаянно глянешь ему в злые глаза, и вся география из тебя мигом вылетает в тартарары где-то у Баб-эль-Мандебского пролива. Растеряешься. Замолчишь.

Тут же сердитый басистый вопрос:

– Пачаму малчания в народэ? Кого хороным? – И сам себе манерно отвечал: – Пиатёрку хороным! У гроба осталас одна нэсчастни вдова госпожа Двойка... Садыс!

Обидно огребать двойку, когда знаешь урок.

Случалось, пустишь с горя росу.

А Влас этаким победителем и доложи:

– Москва слэзам нэ вэрыт! Я солидарни на Москва!

Полная противоположность директору был завуч Сергей Данилович Косаховский.

С первого курса пединститута он добровольцем ушёл на фронт. Больше он в институте не учился.

Весёлые веснушки смеялись у него на лице, на руках. Его все любили. Этот удивительный человек никогда не ставил двоек! Казалось, он просто не знал, как это делается.

Он горячо верил, что двойка не самая высокая планка знаний у любого ученика.

Есть человеку в какую сторону расти. К тройке. К четверке. Наконец, к пятёрке. А чтоб не отбить у человека охоту к росту, не надо его сейчас топтать двойками. Надо дать человеку

возможность осмотреться, поверить в себя. Не выучив географию, ребята срывались с урока. Лучше пусть будет в журнале *«н/б»* (не был), чем верная двойка.

Здесь же убегать не надо.

Приходи на русский, на литературу. Никто тебе двойку не поставит. Приходи и спокойно сиди слушай. Только не мешай другим.

И дети постепенно втягивались, втягивались, и водоворот любви совсем затягивал маленького человечка в свои недра. Приходила минута, когда бывший неудачник подымал руку. Хочу отвечать!

Сперва я больше всего любил математику. А под влиянием Сергея Даниловича переметнулся в его «веру». Мне почему-то было совестно идти к нему на урок, если я чего-то толком не знал.

Русский и литература стали главными в моей жизни.

Уже в восьмом классе я стал писать в газеты.

Как бы в прощание с математикой я решил какую-то математическую головоломку, что была в тбилисской газете «Молодой сталинец», и отправил ответ в редакцию.

Недели через три подхожу у себя на пятом районе к кучке парней. И шофёр Иван Шаблицкий, с кем я любил кататься на его грузовой машине, в плату за что я помогал ему грузить ящики с чаем и разгружать машину уже глухой ночью на чайной фабрике, – этот Иван вертит газету и, не заметив меня, читает всем:

– «Первыми правильные ответы прислали...» – и называет мою фамилию. – Братва, да этот чингисханёнок ещё поломится в писарьки! Вот увидите!

Этот человек подсказал мне мою судьбу.

Дома я внимательно стал изучать газету и вижу, что в газете очень много мелких заметок. И говорю я себе уважительно и ясно:

«Неужели я такой дурак, что не смогу написать в газету пять строк?»

Я оказался «дураком» вдвойне. Да ещё внасыпочку!

В газете моя первая заметка разлилась на одиннадцать строк!

Кто бы мог подумать, что, начав с этих одиннадцати газетных строк, я добегу до одиннадцати томов своих московских сочинений?

Но...

В то далёкое лето я работал хорошо на чаю, и мама купила мне велосипед. Я стал на велосипеде ездить за восемь километров в девятый класс в городке Махарадзе (сейчас Озургети).

Мама, как и отец, была неграмотная. Но всё-таки одна подняла трёх сыновей.

Отец, Никифор Андреевич, какой ни будь «кулак», а Родину защищал честно. Стрелок сто двадцать четвёртой стрелковой бригады. Рядовой.

Был ранен в бою. Умер в госпитале от истощения.

Похоронен в Сочи.

В братской могиле.

Осталась от отца одна золотая строчка с его Именем на Стене Памяти.

Это в Сочи.

Зато на Родине, в Новой Криуше, я не нашёл Имени отца на памятной доске.

После средней школы я кочегарил на маслозаводе, лепил в промкомбинате шлакоблоки. Было это в поселке Каменка, к югу от Воронежа. На родной сторонушке.

А дальше – редакции, редакции, редакции.

Газеты и журналы сжевали около двух десятков моих лет. Из них три года я работал редактором в центральном аппарате Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). Сейчас ИТАР-ТАСС.

Подпирать меня рублём было некому и я заочно кончил факультет журналистики Ростовского-на-Дону университета.

Опубликовал около тысячи материалов.

Это фельетоны, очерки, рассказы, статьи, репортажи, заметки...

Дед, отец, мама (все посмертно) и я реабилитированы.

В настоящее время являюсь членом Московской Ассоциации жертв незаконных репрессий.

«Оглушены трудом и водкой
В коммунистической стране,
Мы остаёмся за решёткой
На той и этой стороне».

Первый рассказ мой «Песня солнечных спиц» был опубликован в газете «Известия» (Москва) первого января 1978 года.

Первую свою повесть «Оренбургский платок» я послал Виктору Астафьеву.

Пакет от Мастера неделю держал в столе.

Под ключом.

Боялся вскрывать.

> «Повесть хорошая... Прочитал я её с большим удовольствием, многое было для меня ново и внове. Дай Вам Бог и далее удачи».

Этот отзыв классика русской литературы, написанный в понедельник 27 августа 1979 года, решил мою судьбу.

Я бросил газетно-журнальную беготню. Стал писать только прозу.

В 1985 году «Молодая гвардия» издала мою книгу повестей «От чистого сердца».

И судьбу этой книги решал известный критик из «Литературной газеты», в будущем главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин. Он писал внутреннюю рецензию. Нашёл мою рукопись «дельной и самобытной», рекомендовал издать.

Мне дорога двадцать седьмая книжка в серии «Библиотека „Огонёк“ за 1990 год.

Та книжка – мои переводы с украинского сатирика Василя Чечвянского, старшего родного брата Остапа Вишни. В далёкие тридцатые к Чечвянскому дважды приезжали Ильф и Петров с предложением переводить их на украинский. «Увы, работе не суждено было осуществиться: через несколько месяцев украинского писателя арестовали и расстреляли как врага народа».

Репрессированный сам за четыре года до рождения, а после, через 62 года, реабилитированный, сперва я перевёл непроходного Василя Михайловича для себя. А отпустя четверть века всё-таки издал свои переводы Чечвянского в «Библиотеке „Огонька“. Спасибо, поддержал Виталий Коротич, в то время был главным редактором „Огонька“.

Приятно сознавать, что я выхватил из небытия репрессированного и лишь посмертно реабилитированного Василя Михайловича Чечвянского, этого украинского Зощенко, и первым подал его русскому читателю.

Не со школьной ли поры я собирал пословицы, поговорки, присловья о природе. Получилась целая книжка народной мудрости «Природы краса». Четыре года она печаталась в каждом номере журнала «Юный натуралист» (1973, 1974, 1975, 1978), в ежегоднике «Лес и человек» (1974, 1975), в газете «Лесная промышленность» (1977) и в других изданиях.

В советское время мою прозу репрессированного не издавали. При Советах я смог напечатать лишь тоненькую книжку художественной прозы «От чистого сердца» да ещё тоньше

книжицу переводов. Я вынужден был долгие годы работать в стол. Ведь шестьдесят два года меня душило клеймо врага народа, и только в 1996 году я был полностью реабилитирован.

И началась другая Жизнь!

Вскоре я начал издавать в Москве собрание своих сочинений. Первоначально намечалось выпустить собрание в десяти томах. Но десяти оказалось мало. Уже вышли одиннадцать. Наполовину уже готов двенадцатый том. В него вошли мои переводы с украинского, белорусского, польского и немецкого.

Из своих произведений я бы выделил две трилогии: «Мёртвым друзья не нужны» (о раскулаченной крестьянской семье) и «Высокие дни» (о первых трудных шагах России к новой демократической жизни); романы: «Кукуня, или Гриша и сбоку мы» (о сыне; роман в трёх книгах), «Стакан распятой земли, или Репрессированный ещё до зачатия», «Русиния» (первоначальное название «Верховина, или Путь из-за океана»), «Сибирская роза» «Пятьсот кругов над красной пропастью» (1990–1992: Россия на переломе, программа «500 дней»)...

Пятитомная трилогия «Высокие дни» – одно из самых крупных художественных произведений в России. В трилогии 2584 страницы.

Написал я и с десяток повестей. «Оренбургский платок», «Жених и невеста», «Что девушка не знает, то её и красит», «Хорошо медведя в окно дразнить, или Герой из книги рекордов Гиннесса», «Пешком через Байкал»...

Особняком стоит широкоизвестная повесть «Оренбургский платок». Впервые она была опубликована в журнале «Наш современник». Затем по ней была сделана радиопостановка, которая более десяти лет с успехом часто шла по Всесоюзному радио и всегда вызывала массу восторженных откликов слушателей. В 1979 году была признана одной из лучших литературных передач года.

Повесть «Оренбургский платок» я посвятил Виктору Астафьеву, предварительно получив на то его письменное согласие.

С полсотни рассказов составляют цикл «Блёстки». Выпустил я и сборник пословиц «Природы краса»...

Моя жизненная позиция: Ты не люби Россию оптом. Ты люби сына своего, люби дочь свою, люби жену свою, люби родителей своих и делай всё, чтобы жилось им счастливо. В этом и будет высшее проявление твоей любви к России.

Воронежская тема – одна из главных в моём творчестве. В частности, в трилогии «Мёртвым друзья не нужны» показана

жизнь раскулаченной воронежской крестьянской семьи на протяжении 60 лет. Прообразом главной героини повести «Жених и невеста» послужила знатная воронежская трактористка Зинаида Молозина.

Об этой повести так написал ещё в 1983 году известный воронежец поэт Егор Исаев:

> «Насколько это неожиданно, настолько и знакомо одновременно. Я лично в названии повести Анатолия Санжаровского „Жених и невеста“ увидел себя в далеком воронежском детстве. В этом словосочетании есть и озорное и серьезное – это как весна перед летом – да и все, собственно, в этой небольшой повести как весна перед летом, в ощущении близкой осени и зимы. Язык повести почти поговорочный – много за словом, над словом, в его глубине. Как велит язык, как велит чувство, так возникает характер. Два характера, две судьбы, но как они близки друг другу, сердцем близки. Хочется любить, верить, а это уже немало и для жизни и для писателя».

Без этого отзыва не появилась бы в те глухие советские годы – тогда мне было уже сорок семь лет – моя первая и единственная при Советах книжка прозы «От чистого сердца», куда была включена и повесть «Жених и невеста». Но книга всё же вышла в 1985 году в Москве в издательстве «Молодая гвардия». В качестве эпиграфов ко многим главам воронежской трилогии «Мёртвым друзья не нужны», написанной в 60-80-ые годы прошлого века, я брал строки из Кольцова, Прасолова и других воронежских поэтов.

Меня, репрессированного, не спешили издавать. И время от времени я посылал свою новую вещь кому-нибудь из известных писателей. Хотелось услышать от маститых, туда ли я еду.

Сильной поддержкой в те далёкие тяжкие годы были мне добрые отзывы о моих сочинениях Виктора Астафьева, Егора Исаева, Василия Белова, Бориса Можаева, авторитетнейшего видного критика, «неистового Виссариона» наших дней Валентина Курбатова…

Долго и трудно я работал над автобиографическим романом «Стакан распятой земли, или Репрессированный ещё до зачатия» и часто горько разглядывал в стакане чёрную землю, что привёз с отцова подворья.

Распятая земля…

Ретивым колхозостроителям мало было уничтожить Род Великих Тружеников. Наказали и их Землю.

Людей с неё ни за что согнали-сослали в далёкие да глухие края, – загнали за Можай! – но сам участок – бросили.

И лежит Родительская Земля распятым трупом уже более семи десятков лет, и жируют-бесятся на ней лишь сорные травы.

Вот этого-то, наверно, мама и не хотела, чтоб я увидел.

Потому и не пускала в Новую Криушу.

Вечный страх быть снова ни за что наказанной заставлял её таиться, молчать.

Всю жизнь скрывала от своих трёх сыновей, что мы «кулаки». Хотела, чтоб хоть нам жилось спокойней.

И кто осудит её за это?

Воистину, «колесо истории не приспособлено к нашим дорогам».

Анатолий Никифорович Санжаровский